

A movie poster for the film 'Rain' (Дождь). The title 'АЛЕКСЕЙ ШЕЙКО' is at the top. The main image shows three people in a rainy city street. A man with a beard and dark hair is on the left, looking left. A woman with long brown hair is in the center, looking forward. A man with short dark hair is on the right, looking right, with the woman's hand on his shoulder. The title 'ДОЖДЬ' is at the bottom.

АЛЕКСЕЙ ШЕЙКО

ДОЖДЬ

Алексей Шейко

Дождь

<https://litres.ru/74259988>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пронзительная проза о современной близости, где измена лишена роковых страстей, а самая глубокая рана наносится почти машинально. Это история о людях, которые слишком хорошо научились читать графики — рыночные и человеческие, — и пропустили момент, когда линия их общей жизни пошла в неконтролируемый штопор. Книга о цене того самого мгновения на вершине качелей, когда цепь внезапно провисает.

Алексей Шейко

Дождь

Ты закрываешь последний график движением, которое давно стало привычным, — просто палец находит крестик в углу, и синяя свеча, дотянувшая до вечера, исчезает вместе с сеткой. Фьючерс на нефть. Минус семьсот за день. Не катастрофа, не выигрыш — цифра, которую ты уже никак не переживаешь, только отмечаешь, как отмечают температуру за окном. Ты откидываешься на спинку стула, и он отзывается коротким скрипом — всегда на этом месте, где пластик потёрся до белизны, до гладкой мозоли под лопаткой.

Терминал гаснет. Экран становится чёрным зеркалом, и в нём — твоё лицо, размытое, без черт, только пятно светлее фона. Ты не смотришь туда. Ты смотришь мимо, в стену, где ничего нет, кроме розетки и следа от чужой картины: прежние жильцы вешали, сняли, и остался прямоугольник светлее остальной краски, аккуратный, как невыгоревшая память.

И вот тогда приходит тишина. Она наваливается не постепенно, а разом, будто кто-то выключил не звук, а давление. Днём его не замечаешь: голова забита котировками, уведомлениями, красным и зелёным, — а стоит закрыть терминал, и остаётся только это. Гул системника под столом, ровный,

на одной ноте. Трамвай за

окном — далеко, у поворота на проспект, скрипит на рельсах, и звук тянется, тянется, потом обрывается. И снова гул. Больше ничего. Квартира в новостройке звучит так, будто её ещё не заселили: голые стены не держат эхо, отдают его обратно, увеличенным.

Ты встаёшь. Ноги затекли, спина отзывается тупо, где-то между лопаток, — восемь часов в одной позе делают тело чужим, взятым напрокат. Ты идёшь на кухню, и это даже не решение — ноги знают маршрут, руки знают чайник. Снимаешь крышку, подставляешь под кран, слушаешь, как вода бьёт в металл сначала звонко, потом

глуше, по мере наполнения. Ставишь на подставку, щёлкаешь кнопкой. Красный огонёк. Всё автоматически, всё мимо тебя. Голова ещё там. Ты ловишь себя на том, что просчитываешь завтрашний гэп, прикидываешь, где встанешь, если откроется ниже, — цифры идут сами, как в фоновом окне, которое ты забыл закрыть. Семьсот. Отыграешь за пару сессий, если не будешь дёргаться. Если не будешь.

Чайник начинает шуметь — сначала тихо, потом всё выше. И только под этот нарастающий звук до тебя доходит, что на кухне ты один. Что стол пуст. Что на плите ничего не стоит, и в мойке нет её кружки с отколотым краем, той, которую она моет первой, раньше твоей.

Алиса говорила — к восьми.

Ты достаёшь телефон из кармана домашних штанов.

Экран вспыхивает: 18:22. Ни сообщений. Ни пропущенных. Мессенджер молчит, последняя строчка её, утренняя, про то, что купит хлеб, если будет по пути. Ты держишь телефон в руке чуть дольше, чем нужно, чтобы просто посмотреть время, большой палец сам гладит холодное стекло. Потом кладёшь его экраном вниз на столешницу.

Чайник щёлкает, отключаясь. Ты заливаешь пакетик — обычный, чёрный, тот, что подешевле, и вода мутнеет медленно, разворачивая коричневые нити, будто дым под водой. Держишь кружку двумя руками. Керамика горячая, и это тепло единственное отчётливое ощущение за весь вечер, единственное, что не гул и не цифры. Ты стоишь так секунду, вбирая его ладонями, как вбирают чужое чужие руки.

Потом идёшь к окну. Не к столу, к подоконнику, широкому, ещё пахнущему монтажной пеной по краям, где строители не зачистили. Садишься на него боком, спиной к раме, и смотришь наружу. Холод стекла ползёт сквозь футболку, лёгкий, ознобный.

Панельный дом напротив стоит близко — дворы в новостройках жмутся друг к другу, будто экономят на воздухе. Он тёмный почти весь, серо-синий в сумерках, и окна в нём — чёрные прямоугольники, один в один, этаж за этажом. Только на седьмом, чуть левее середины, горит свет. Тёплый, жёлтый, кухонный. За тюлем движется тень, кто-то ходит, наливает, ставит. Живёт свой вечер, которого ты никогда не узнаешь.

Ты отпиваешь. Чай ещё слишком горячий, обжигает верхнюю губу, и ты отставляешь кружку на подоконник рядом с собой, где остывшее доньшко оставляет на пыли влажный кружок.

И — ни о чём. Голова, которая весь день считала, вдруг перестаёт думать. Не отдыхает, просто останавливается, как машина на светофоре: работает вхолостую, но не едет. Ты смотришь на жёлтое окно и не думаешь ни про нефть, ни про завтра, ни про то, что двадцать две минуты стали двадцатью пятью. Свет напротив мигает, тень заслонила его на миг, и снова ровный.

Трамвай где-то далеко опять скрипит на повороте, и звук тянется тонкой ниткой сквозь двор. За окном темнеет, синева густеет, и в стекле начинает проступать твоё отражение поверх чужого дома, бледное, как то, в чёрном экране. Ты сидишь, держишь тепло в ладонях, и ждёшь звук ключа в замке, хотя себе в этом не признаёшься.

Кофе остывает быстрее, чем я успеваю с ним что-то сделать. Держу кружку обеими руками, керамика ещё тёплая снизу, а сверху уже нет, и это несоответствие почему-то занимает меня дольше, чем должно. Из комнаты идёт ровный гул — это компьютер, это Лёша, это утро, которое началось без меня и обойдётся без меня.

Он сел за монитор в семь, я слышала, как скрипнул стул. Он не завтракает по утрам. Он забывает про еду до тех пор,

пока цифры не отпустят, а цифры отпускают его редко.

За окном одинаковые фасады. Панель на панели, окна на окнах, где-то за одним из них тоже кто-то стоит с кружкой и смотрит на меня, я это знаю, но никогда не вижу. Дом, напротив, построили одновременно с нашим. Мы въезжали, глядя на пустые глазницы окон, а теперь там жёлтые занавески, спутниковая тарелка, детский

велосипед на балконе третьего этажа. Люди заполнили пустоту, как вода заполняет форму. Ничего лишнего. Всё встало на место.

На столешнице пятно. Кофе, разлитый три дня назад, я тогда потянулась за телефоном и толкнула чашку локтем, и коричневый круг лёг у самого края, и я подумала: вытру потом. Потом не наступило. Пятно засохло, стало частью стола, светло-коричневый ободок, внутри темнее. Я смотрю на него и почему-то думаю не про тряпку.

Я думаю про то, как это было. Не как рассказывают в кино, не с музыкой, не с замиранием. Просто был вторник. Дима сказал что-то. Даже не помню, что, что-то необязательное, про очередь, про то, что кофемашина у нас капризная, что-то, что говорят все, кто ждёт свой капучино и не знает, куда деть глаза. И я засмеялась. Вот это я помню точно. Не потому, что было смешно, смешно не было, а потому что мне захотелось

засмеяться, и я разрешила себе. Как будто внутри повернули ключ, и открылась дверь, за которой я и не думала, что

что-то есть.

Вот эта разница. Её надо сформулировать правильно, потому что от неё всё.

Я не влюбилась. Это важно. Я перебираю это уже который день, как перебирают вещи в ящике, который давно хотел разобрать, и каждый раз возвращаюсь сюда, к этой одной формулировке, потому что она никак не ложится точно. Влюбиться, это когда тебя несёт, когда ты не выбираешь. А я выбрала. Я стояла за стойкой, вытирала пар с носика питчера, смотрела, как он уходит, и поняла простую вещь: я могу. Могу, и никто не узнает, и мир не треснет, и Лёша будет так же скрипеть стулом в семь утра. Между «хочу» и «могу» лежит целая пропасть, и обычно в неё не заглядывают. А я заглянула и увидела, что там не страшно. Там просто пусто, и по этой пустоте можно идти.

Не потому, что мне плохо с Лёшей. С Лёшей мне хорошо, так хорошо, что иногда от этого хорошо начинает ныть под рёбрами, как ноет зуб, который вроде не болит, но ты его чувствуешь. Он тёплый, он ровный, он спит, положив мне руку на бок, и я знаю каждую его привычку наизусть, и он знает мои. Думает, что знает. Это не про него. Это про меня. Про то, что я устроена так, а не иначе, и я не собираюсь себе врать хотя бы про это. Первое, что я запомнила в Диме, не лицо. Интонацию.

Лицо я потом уже разглядывала, специально, как разглядывают то, что решили взять. А сначала была только инто-

нация — вот это его умение сказать пустое так, будто в этом есть второе дно, которого на самом деле нет. Пустой человек, если честно. Но интонация зацепила. И я засмеялась, и он это заметил, и что-то между нами щёлкнуло, не влечение даже, а узнавание. Два человека узнали друг в друге тех, кто согласен. Кто не будет спрашивать лишнего. Кто понимает, что дверь можно открыть просто потому, что она есть.

Допиваю. Кофе холодный совсем, на дне гуща, я не люблю гущу, но пью до конца, привычка, оставшаяся неизвестно откуда. Ставлю кружку рядом с пятном. Ещё одно кольцо ляжет на стол, если я не вытру, и я снова не вытру. Внутри тихо. Я прислушиваюсь к себе честно, без скидок, так прислушиваются к телу, когда ждут, где заболит. Не болит. Ни тревоги, ни того, что называют совестью, которую я, кажется, где-то потеряла по дороге, ещё до всякого Димы. Есть только любопытство. Лёгкое, холодноватое любопытство к самой себе, как будто я задача, которую сама себе задала, и решение уже почти видно, но последняя строчка не сходится.

Гул из комнаты становится громче, Лёша что-то передвинул, окно на мониторе, наверное. Сейчас он позовёт меня или не позовёт. Я не двигаюсь. Смотрю на пятно, на своё отражение в тёмном экране микроволновки, на жёлтые занавески в доме напротив.

Интересно, думаю я, и в этой мысли нет ни капли того, что должно быть. Мне не страшно. И не больно. И не стыдно. Просто.... Интересно. Интересно, докуда я дойду. Инте-

ресно, что будет дальше.

Смена заканчивается всегда одинаково: сначала уходят люди, потом уходит смысл стоять за стойкой. Я помню тот вечер до последней детали, хотя тогда ещё не знала, что он мне понадобится. Просто так вышло, что память сложила его аккуратно, как складывают чек, который вроде выкидывать жалко.

Я домывала кофемашину. Половина седьмого, за окном ноябрьская каша, тот час, когда в кофейне на Ленина уже никто не заходит, кроме тех, кому больше некуда.

И тут дверь.

Дима.

Он вошёл так, будто мимо шёл. Руки в карманах, воротник поднят, снаружи натащил холода. Сказал что-то про то, что случайно оказался рядом, и я в ту же секунду поняла, не случайно. Не рядом. Специально. И это было первое, что я не сказала вслух. Я знала, что он врёт про случайность, и промолчала. А молчание, если подумать, тоже поступок. Ты как будто соглашаешься играть по правилам, которые ещё не проговорили. Вот это молчание я теперь и считаю началом. Не постель. Не потом. А то, как я вытерла руки о фартук и сказала: «Тебе что налить?» вместо «зачем пришёл».

Он сел на высокий стул у стойки. Стал рассказывать про какую-то свою работу, про сделку, про человека, который его кинул, про то, что он теперь думает всё переиграть. Я почти

не слушала содержание. Содержание у Димы всегда одинаковое: он в центре истории, история несправедлива, он справится. Я слушала другое. Паузы. Он говорил и спотыкался там, где не надо спотыкаться. Брал кофе, ставил, снова брал. Пальцы жили отдельно от слов. Он нервничал, и вот это мне и нравилось.

Есть такая штука. Когда человек уверен он скучный. Когда человек нервничает при тебе значит, ты для него не просто человек за стойкой, ты стала риском.

Я стала для Димы риском, и я это увидела по тому, как он не мог удержать кружку на месте. Мне было двадцать восемь, и я умела читать это быстрее, чем текст на молочном пакете.

Потом он положил руку на стойку. Просто положил рядом с моей. Не коснулся. Между нашими ладонями оставалось, может, полтора сантиметра дерева, тёплого от лампы. Он не смотрел на руку.

Он смотрел на меня и продолжал что-то про своего кидалу. Но рука лежала там, где ей нечего было делать, и она говорила громче него.

Я смотрела на эти полтора сантиметра. И у меня в голове не «он мне нравится», не «я его хочу». А ровное, спокойное: «вот оно». Как будто мне показали правило игры, и я его узнала. Не влюблённость. Узнавание. Он ждал. Я всегда умела определить эту секунду. Секунду, когда человек ждёт разрешения.

Смешно, если честно. Я никогда не давала уроков и не чи-

тала книжек, а вот это чувствую кожей момент, когда мужчина уже всё решил внутри, но боится сделать первым, и стоит на пороге, и ждёт, чтобы ты сказала «можно». Дима стоял на этом пороге всей своей нервной рукой на стойке. И я могла сказать «нет», тогда бы он убрал руку, засмеялся, свёл всё к шутке, и ушёл бы уже никем. Могла сказать «да», но это было бы грубо и рано, я не люблю грубо и рано. Я не сделала ни того, ни другого. Я улыбнулась. Не ему специально так, вообще, будто своим мыслям. И начала убирать посуду. Взяла его кружку из-под руки он чуть отдёргнул ладонь, понесла к раковине. Спинай к нему. Вот и всё. Но это тоже был ответ, и он его услышал, потому что не встал и не ушёл. Он остался сидеть, и по спине я чувствовала, что он сидит и смотрит, и понимает: я не отказала. Я поставила чашку и стала её мыть, медленно, слушая, как за спиной он молчит. Молчание вдвоём — это уже почти интимность. Дальше только детали и время.

Он ушёл минут через десять. Сказал что-то дежурное — увидимся, спасибо, ну ты держись. Я мыла стаканы и не оборачивалась. Слышала, как он идёт к двери, как

берётся за ручку, как впускает холод.

И на пороге он оглянулся.

Я знала, что оглянется. Поэтому и не оборачивалась. Не потому, что не хотела на него посмотреть, а потому что уже видела всё наперёд, как видишь конец фразы, которую сама начала. Если бы я обернулась, мы бы встретились глазами, и

это было бы поровну. А так — он оглянулся на мою спину, на затылок, на руки в пене, и унёс это с собой в ноябрь. Дверь стукнула. Стало тихо. Я домыла последний стакан, поставила его сушиться доньшком вверх и подумала совершенно спокойно, без единой лишней ноты внутри, что вот теперь можно.

Восемь вечера, а в квартире уже глухая ночь. Такая, какая бывает только зимой в новостройке, где за окном не деревья, а другой такой же дом, и в нём тоже кто-то сидит у экрана. Лёша за столом, спиной к комнате. Ноутбук, второй монитор рядом, зелёные и красные столбики. Мышь щёлкает коротко, ровно, как капает кран, который так и не починили. Я лежу на диване, ногами на подлокотнике, телефон у лица, и уже минут двадцать не читаю то, что вроде бы читаю.

Хорошая картинка. Я это без иронии хорошая. Тепло, тихо, чайник недавно кипел, на кухне два эклера, которые я не съем, и он не съест, они так и засохнут.

Никто никуда не спешит. Если бы кто-то заглянул в окно с того, соседнего дома, он бы увидел молодую пару вечером буднего дня и подумал: вот у людей всё в порядке. И он был бы прав. У людей всё в порядке. Я его люблю.

Это даже не вопрос, тут не о чем спорить. Я смотрю на его затылок, на то, как он трёт шею левой рукой, не отрываясь от графика, и внутри у меня тепло, самое настоящее, без под-

делки. Я знаю этот затылок наизусть. Я знаю, что он сейчас скажет «блин» тихо, себе под нос, если свеча пойдёт не туда, и он говорит «блин», еле слышно, и я улыбаюсь в темноте.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему это ничего не меняет.

Вот бы кто-нибудь объяснил. Не мне, вообще. Есть же где-то люди, которые считают, что любовь и всё остальное как-то связаны: любишь — значит не станешь,

не любишь — вот тогда да. Красивая арифметика. Только у меня она не сходится, и я не мучаюсь, что не сходится. Я люблю его вот прямо сейчас, глядя на эту шею,

и то, другое, лежит рядом с этой любовью, не мешая ей, как две вещи на одной полке. Я даже не ищу, где тут ошибка. Наверное, потому что чувствую: ошибки нет.

Есть просто я, вот такая.

— Ты хлеб купила? — спрашивает он, не оборачиваясь.

— Купила. Чёрный только....

— Ага.

Пауза. Мышь щёлкнула. Он снова ушёл в экран, и я снова осталась с его затылком.

Вот это и есть мы. Я знаю пары, где кричат, где швыряют, где молчат так, что стены гудят. У нас ничего этого нет. У нас ровно. Ровное, тёплое, предсказуемое, как этот его график, который к вечеру всегда сглаживается. Иногда мне кажется, что мы и есть график. Медленная линия, без пиков. И это хорошо. И одновременно — я вжимаюсь щекой в по-

душку, одновременно от этого хочется чего-то, чему я даже названия не даю вслух.

Я вспоминаю качели. Ни с того ни с сего, детские, во дворе на Ленинградской, с облезлой синей краской и цепями, которые холодили ладони. Я боялась их.

Не высоты. Высоты я как раз не боялась. Я боялась той секунды в самой верхней точке, когда качели уже остановились лететь вверх, но ещё не начали падать, и цепи вдруг провисают, обмякают в руках, и тебя на долю мгновения ничто не держит. Ты просто висишь. Ни вверх, ни вниз. Пустота под животом. Мне было лет семь, и я ненавидела эту секунду, отпускала одну руку, тормозила ногой, лишь бы не долетать до верха.

А потом, не помню, когда именно, но помню, что перестала бояться. И не просто перестала. Стала раскачиваться сильнее. Специально. Из всех сил, чтобы дойти до этой точки, поймать это провисание цепей, эту невесомость, этот обрыв внутри, и удержать его на секунду дольше. То, чего боялась, я начала искать. Никто меня не учил. Просто в какой-то день я поняла, что вот эта пустота под животом не страшная. Что она лучшее, что есть на этих качелях. Всё остальное только чтобы до неё долететь.

Лёша встаёт, наливает себе воды из чайника, тёплой, он любит тёплую, идёт обратно. Проходит мимо дивана, кладёт ладонь мне на макушку, мимоходом, не глядя, привычно, и садится. Рука тёплая. Мне хорошо от этой

руки. Я это тоже не подделываю.

Я переворачиваюсь на другой бок. Лицом к спинке дивана, спиной к нему и к экрану. Просто так, устала лежать на правом. Он не замечает. Не оборачивается, не спрашивает, чего это я. Мышь щёлкает дальше.

Я не обижаюсь. Правда, ни капли. Раньше, может, кольнуло бы, заметь меня, обернись. Сейчас нет. Я просто отмечаю: не заметил. Складываю это к остальному,

что отмечаю за день. Тихо, аккуратно, как он складывает свои цифры. Он даже не знает, какой я хороший бухгалтер.

За окном соседний дом гасит одно окно, зажигает другое. Щёлк. Щёлк.

Тот первый раз я помню не по комнате и не по нему. Я помню дорогу домой.

Тот же маршрут, что всегда: от кофейни через дворы, потом вдоль Ленина, мимо «Спортмастера», у которого в витрине уже месяц стоят одни и те же манекены в

одних и тех же куртках — рыжий и синий, оба без голов, оба с поднятой рукой, будто ловят такси. Я шла и почему-то ждала, что они опустят руки. Что хоть что-то

будет иначе. Куртки те же, скидка та же — минус тридцать, красным по жёлтому. Стекло то же, с разводами от тряпки уборщицы, которая протирает витрину всегда наискосок, слева направо.

Я не то, чтобы ждала раскаяния. Я не дура и себя знаю:

раскаianie — это не мой размер, оно на мне сидит как чужое пальто, широко в плечах. Но я ждала хоть

какого-то сдвига. Знака. Что мир, который только что впустил в себя новое, большое, тяжёлое, необратимое, как-то это отметит. Тряхнёт. Изменит освещение.

Что я перейду в другую версию улицы, а не в ту же самую, с теми же безголовыми манекенами.

Ничего. Светофор на перекрёстке моргнул зелёным человечком, отсчитал секунды, двенадцать, одиннадцать, десять, и я перешла дорогу вместе со всеми. С женщиной,

тянувшей за руку ребёнка. С мужиком в спецовке. Мы все перешли одинаково. Никто не обернулся на меня. И я поняла, что это, наверное, и есть самое честное во всей истории — что никто не оборачивается.

В кино у измены всегда есть звук. Скрипка входит откуда-то из-за кадра, тянет одну ноту, чтобы зритель точно знал: вот, случилось, вот черта, вот она её

переступает, смотрите на её лицо. И у героини обязательно лицо. А у меня — трамвай. Он как раз отходил от остановки у «Магнита», звякнул раз, потом ещё, набрал

ход, и провода над ним коротко пыхнули синим. И пахло не грехом, не мужчиной, не чем-то там роковым — пахло выхлопом, разогретым за день асфальтом и жареной

курицей из палатки на углу. Вот и вся скрипка. Трамвай звенит, курица шкворчит. Аминь.

Я шла и прислушивалась к себе, как прислушиваешься к

зубу после укола, уже не болит, но проверяешь языком, там ли он ещё, тот зуб. И ничего не находила.

Ни ямы, ни тошноты, ни этого литературного холода в груди. Было даже наоборот, что-то ровное, собранное. Что-то похожее на... я поискала слово и нашла, и сама

себе усмехнулась: похожее на удовлетворение. Профессиональное. Как будто я закрыла сложную смену, с очередью до дверей, с кофемашиной, которая капризничала, с тем клиентом, что три раза переделывал латте, закрыла и не сорвалась, не расплескала, всё сделала чисто. Сделала трудное и осталась цела.

Профессиональное удовлетворение. Надо же. Я даже головой качнула, идя мимо аптеки. Это ж каким местом надо думать, чтобы про такое — такими словами. Мне бы,

по всем правилам, сейчас стоять у этой аптеки и глотать что-нибудь от совести, а я иду и мысленно ставлю себе галочку в табеле. Молодец, Алиса. Уложились в норматив.

Но смешно было не по-злому. Смешно было спокойно. Я не оправдывалась даже перед собой, а это, я потом поняла, и есть самое интересное. Люди же обычно как:

сделают и тут же начинают внутри строить оправдание, целую конструкцию, лишь бы устоять. А мне нечего было строить. Мне не перед кем было. Я просто отметила

факт — вот, было, и пошла дальше, мимо витрины, мимо трамвая, мимо курицы.

У подъезда я остановилась, набрала код. Дверь тяжёлая, с доводчиком, который вечно не срабатывает, и её надо придержать плечом, иначе прищемит. Я придержала.

В подъезде пахло краской, где-то на верхних этажах опять что-то доделывали, новостройка, вечная стройка внутри стройки. Я нажала кнопку лифта. Загорелась

стрелка вверх, потом циферки поехали вниз — шесть, пять, четыре.

Лёша дома. Сидит перед экраном, график к вечеру сгладился, он расслабился, налил себе воды, тёплой. Может, поставил чайник и забыл. И я подумала о нём, вот

прямо тут, у лифта, с этими цифрами, шесть, пять, четыре, подумала тепло. Без всякого усилия, без «надо». Просто представила его затылок, его руку на клавиатуре, то, как он обернётся, когда я войду, скажет «пришла?», не отрываясь от экрана, и мне стало хорошо от этой мысли, как от той его тёплой руки на макушке.

И вот это удивило меня больше всего. Не то, что я не жалею. А то, что одно другому не мешает. Что я стою в подъезде, пахнущем краской, полчаса как от Димы, и думаю о Лёше тепло, и никакая трещина между этими двумя вещами не проходит. Их просто две. Как два окна в соседнем доме. Одно гаснет, другое горит. И оба, мои.

Кран открывается тяжело, с рывком, как всё в этой квартире. Вода идёт сначала холодная, потом теплеет, и я под-

ставляю под неё кружку. Лёшину, с отколотым

краем у ручки, он всё грозитя выбросить и не выбрасывает. Мою медленно. Пальцами. Губка где-то за смесителем, но мне не нужна губка, мне нужно просто держать

тёплую керамику под тёплой водой и смотреть в окно, где тот же двор, что и всегда, детская площадка, две машины, тополь, который дворники всё грозятся спилить и не спиливают.

Лёша ушёл в комнату. Я слышала, как скрипнул стул, как щёлкнул монитор, он уже там, в своих цифрах, и меня для него сейчас нет, есть график, который откроется и поедет, зелёный или красный. Мне это, если честно, удобно. Мне вообще многое в нём удобно, и я давно перестала стыдиться этого слова. Удобно, не значит мало. Удобно, это когда не надо каждую минуту доказывать, что ты тут.

Вода греет ладони. Я поворачиваю кружку.

И вот стою я так и думаю. А ведь я не злая. Правда. Я перебираю себя, как перебирают крупу, и не нахожу там злости. Я не хочу, чтобы кому-то было плохо. Мне не в радость чужая боль, я не из тех, кто наблюдает и наслаждается. Мне просто иногда нужно подойти к краю. Посмотреть вниз. Постоять там, где сердце ускоряется само, без всякой кофемашины и без очереди до дверей. А потом, отойти. Целой. Вот и весь фокус. Весь мой фокус в том, что я умею отойти. Не падаю. Другие падают, а я нет.

Или думаю, что нет. Это я тоже про себя знаю. Что «умею»

и «думаю, что умею».

Дима вчера был не такой.

Я ставлю кружку на сушилку доньшком вверх, вода стекает тонкой ниткой. Дима был чуть тише. Чуть скованнее. Обычно он говорит без пауз, заполняет собой всё, а вчера — паузы. Смотрел куда-то мимо, потом ловил себя, возвращался. Один раз засмеялся не там, где смешно. Я это заметила, как замечаю трещину на чашке, есть трещина, вот она, и не стала домысливать, откуда. Отметила и убрала. У меня для таких вещей отдельная полка, высокая, куда я складываю всё, что не требует ответа прямо сейчас. Потом разберу. Или не разберу. Полка большая.

Закрываю кран. В квартире тихо, только из комнаты сухой перестук клавиш, редкий, как капель. Полотенце висит на ручке духовки. Жёлтое, с лимонами, крупными, наглыми, нарисованными так, будто художник никогда не видел настоящего лимона, а слышал только, что они бывают. Лёша купил его на рынке, у бабки в пуховом платке, и всю дорогу домой смеялся: смотри, говорит, они же как из мультика, они же светятся, кому такое в голову пришло. И повесил сам. И каждое утро оно тут. Я вытираю руки. Ткань жёсткая, новая ещё, не размягчилась от стирок. Лимоны под пальцами.

И держу это полотенце секунду дольше, чем надо. Просто держу. Не думаю ничего специального, нечего думать, это полотенце, это лимоны, это рынок и бабка в платке. Но рука почему-то не отпускает сразу. Как будто в ткани осталось

то его, как он смеялся, запрокинув голову, и людям вокруг было слышно, и мне было немного неловко и очень хорошо одновременно. Секунда. Я стою с лимонами в руках посреди кухни, и во мне ничего не болит, вот что странно. Не болит. Просто тепло и немного, как бы это, плотно. Будто в груди на секунду что-то стало плотнее.

Вешаю полотенце на ручку духовки. Расправляю уголок, чтобы висело ровно. Всё.

Пора собираться. Смена в десять, до кофейни двадцать минут пешком, если срезать через двор со сломанным шлагбаумом, двадцать пять, если в обход. Волосы собрать, не мыть, вчера мыла. Рубашку ту, тёмную, на светлой вечно кофейные брызги. Сегодня привоз, придёт молоко и, кажется, новые стаканы, надо принять по накладной, Ленка вечно принимает не считая, а потом недостача. Обед у меня в два, если Кирилл не заболеет опять. Если заболеет — без обеда.

Я иду в комнату, к шкафу, мимо Лёшиного затылка. Он не оборачивается. И я не говорю ничего. Молоко, стаканы, накладная. Двадцать минут через двор. В голове только это. Расписание, ровное, как лента конвейера. Ни Димы там нет, ни его вчерашних пауз, ни Лёшиного смеха над лимонами. Только день, разложенный по часам, и я в нём на своём месте, целая, спокойная, знающая, куда ступить.

Вечер собирался из мелочей, которые не имели никакого значения. Сначала чайник, который вскипел и выключил-

ся. Затем свет: верхний жёлтый давно резал глаза, поэтому остался только торшер в углу, вырезающий из темноты кусок стола, две ладони и её профиль. Дождь за окном, от которого окна запотевают по краям, а город за стеклом становится плоской театральной декорацией. Время тянулось густой карамелью, заполняя паузы между редкими фразами ровным гудением холодильника.

— Позвать Диму? Он вроде свободен сегодня. Посидим.

Слово повисает в кухне вместе с гулом холодильника. Дима. Она произносит его так, будто это самое обычное имя, будто с той же интонацией можно было бы сказать

«купим завтра хлеба» или «надо бы окно помыть». Ни нажима, ни лишней лёгкости, за которой прячут напряжение, ничего. Голос скучающий. Голос человека, которому вечер немного длинен и хочется его чем-то заполнить. Ты смотришь на неё. Она уже тянется за телефоном — раньше, чем ты успел ответить, раньше, чем ты открыл рот. Рука идёт к экрану сама, привычным движением, без той секундной паузы, в которую человек ждёт согласия. Как будто вопрос был не вопрос, а объявление. Как будто твоё «да» уже лежало где-то заранее, и она просто взяла его, не спрашивая. Или как будто ей всё равно, что ты ответишь. Одно и то же движение, а читать его можно двояко, и ты выбираешь то, что легче.

— Давай...

Слово выходит из рта и повисает там же, где повисло её. Ты слышишь его со стороны, будто это не ты сказал, а кто-то

за тебя. Пусто. Согласие по инерции, как ставишь галочку в форме, не читая. Ты хотел, чтобы прозвучало обычно, а прозвучало никак, и ты сам не понимаешь, слышит ли она эту пустоту или для неё это тоже просто «да», просто галочка.

Она уже пишет. Большой палец бежит по экрану быстро, привычно, ноготь коротко стучит по стеклу. Ты не видишь текста, телефон повернут к тебе ребром, светится только тонкая полоса. И вдруг она улыбается. Чему-то в экране. Уголок губ идёт вверх, коротко, сам собой, и тут же гаснет. Ты не видишь, что там написано, что заставило её так улыбнуться. Может, он ответил что-то. Может, она сама что-то напечатала и ей понравилось, как вышло. Ты не знаешь.

— Едет, — говорит она. — Через час будет.

Ты киваешь. Она кладёт телефон на стол. Лицом вниз. Тёмная спинка, царапина у камеры. Кладёт спокойно, не пряча, не прищёлкивая ладонью, просто перевернула, как переворачивают, чтобы не бликовало в глаза. Люди так делают сто раз на дню. Ты сам так делаешь.

В кухне снова тихо, только холодильник, только соседи за стеной. Она встаёт, идёт к раковине, ополаскивает свою кружку, ту, из которой ты только что пил, ставит на сушилку доньшком вверх. Достает из шкафчика чистые. Три. Расставляет на столе, и они коротко звякают о столешницу.

Ты смотришь на её спину, на резинку в почти высохших волосах, на то, как она двигается по кухне, легко, без единого лишнего жеста, у себя дома, вечером, накануне ничего.

И думаешь то, что думать легко и что, наверное, правильно думать.

Она сама предложила. Вот в чём дело. Не ты сказал «давай позовём кого-нибудь», не ты вспомнил про Диму — она. Первая. Своим голосом, своим языком произнесла это имя за этим столом. Если бы было что-то — что-то, чему ты весь вечер не находишь названия и не хочешь находить, она бы не звала его сюда. Не привела бы в дом. Не расставила бы три кружки. Люди, у которых есть тайна, не тащат её к себе на кухню и не наливают ей чаю. Они держат её подальше, за дверью, за городом, где угодно, только не здесь, не под этой лампой, не в полуметре от тебя.

Это логично. Ты держишься за это, как держатся за поручень в качающемся вагоне. Логика простая, чистая, её не проломить. Тот, кто прячет — прячет. Тот, кому нечего прятать — зовёт. Она зовёт. Значит, нечего.

И от этой мысли делается легче, по-настоящему легче, узел под рёбрами чуть отпускает, дыхание идёт ровнее. Ты и сам замечаешь это облегчение, эту благодарность к собственному выводу, и не спрашиваешь себя, почему тебе так важно было к нему прийти. Почему ты весь вечер строил дом, чтобы теперь с таким тихим счастьем в него въехать.

— Печенье ещё есть, к чаю, — говорит она, не оборачиваясь. — В коробке синей, посмотри.

Ты встаёшь. Идёшь к шкафчику. Синяя коробка стоит

там, где всегда, и это тоже почему-то важно, что там, где всегда, будто мир держится на этих неподвижных мелочах.

Он приходит через час, ровно через час, как она и обещала, и это ты тоже отмечаешь про себя, хотя отмечать тут нечего: в Магнитогорске вечером и два часа можно ехать, светофоры, объезд у стройки. Дима стоит на пороге в мятой куртке, той самой, серо-синей, которую он не снимает с осени, и держит перед собой три банки «Балтики», связанные пластиковой упаковкой, как трофей. От куртки тянет улицей, холодком и тем самым табаком.

— Ну здорово, — говорит он и протягивает тебе руку первым, раньше, чем успевает разуться, раньше, чем смотрит на Алису.

Ты жмёшь. И чувствуешь: чуть крепче, чем всегда. На полсекунды дольше. Будто в рукопожатии есть что-то, что он хочет тебе передать, но не знает как, и передаёт вот этим, лишним усилием пальцев. Ты списываешь это на пиво, на пятницу, на то, что мужики жмут руки крепче, когда рады. Разжимаешь.

— Проходи.

Алиса уже на кухне, уже ставит чайник, тот же жест, которым она ставила его час назад, при тебе, легко, как ставят его сто раз на дню. Дима проходит следом за

тобой и садится не на стул, а на табурет, тот, что у стены, низкий, неудобный, на котором никто обычно не сидит. Са-

дится сам, без приглашения, будто заранее решил, что сядет именно там. У стены. Подальше.

И вот здесь — ты не знаешь, как это назвать. Они не смотрят друг на друга. То есть смотрят, но так, как смотрят на мебель: скользнул взглядом, отвёл. Секунда, не больше. Ты привык, что люди, которые давно знакомы, ловят глаза друг друга подольше, переглядываются, когда кто-то третий говорит глупость. А эти двое как будто договорились не встречаться взглядами. И держат этот договор с такой ровностью, что заметно именно ровное, гладкое место там, где должно быть хоть что-то.

Не взгляды ты замечаешь. Их отсутствие.

Чайник начинает шуметь.

— Слышь, я «десятку» продал наконец, — говорит Дима, откидываясь к стене. — Помнишь, я тебе про генератор рассказывал? Всё, отмучился. Взял «Фокус», второй, серебряный. Пробег небольшой, один хозяин.

— Бабка в церковь по воскресеньям ездила? — говоришь ты. — Классика.

— Да я сам не поверил. Открыл — салон как новый.

Алиса смеётся, коротко, в нужном месте, там, где смеются про бабушку. Хороший смех, настоящий, ты знаешь этот её смех. Ставит на стол сахарницу, и крышка тихо звякает. Ты киваешь на что-то про подвеску, отвечаешь про то, дорого ли обошёлся, и слушаешь себя со стороны — как ты сидишь тут, задаёшь правильные вопросы, а голова занята совсем дру-

гим, тем, чего ты и сам не разложил бы по полкам, если бы попросили. Минус семьсот сегодня. Красная свеча на четырёхчасовом, в которую ты влез, как дурак. Это тоже где-то там, под разговором про «Фокус».

Чайник щёлкает. Алиса разливает, и пар поднимается тремя тонкими струйками.

Она берёт кружку — синюю, с отбитой глазурью на ободке, и передаёт её Диме. И ты смотришь на это движение так, как не смотрел бы никогда, если бы не сидел весь вечер вот в этом. Она держит за ручку. Он берёт за стенку, за горячий бок, обхватывает ладонью снизу. Их пальцы не встречаются. Ни на миллиметр. Кружка переходит из руки в руку, и между этими руками остаётся зазор, маленький, аккуратный, продуманный. Они аккуратны, думаешь ты. И тут же слышишь, как это звучит внутри, и тебе делается противно от самого слова.

Аккуратны. Да брось. Так берут любую горячую кружку — за стенку, чтобы не обжечь того, кто держит за ручку. Так все берут. Ты сам так берёшь. Нет никакого зазора, есть кружка и два человека, которые не хотят вылить кипяток друг другу на пальцы. Ты видишь то, чего нет, потому что устал — устал по-настоящему, до того звона в затылке, когда картинка на мониторе к вечеру начинает чуть дрожать. Минус семьсот за день делают с головой своё. Ищут виноватого. Строят из мебели заговор. Завтра выспишься, и не вспомнишь, о чём тут думал.

— Тебе с сахаром? — спрашивает Алиса Диму.

— Не, я так.

Как будто не знает, с сахаром он или нет. Как будто и правда не знает. Пьют. Дима рассказывает ещё про какую-то мойку, про то, как затонировал стёкла, а получилось темнее, чем по ГОСТу, и теперь боится гаишников. Ты смеёшься. Алиса подпирает щёку рукой, и всё выглядит как обычный вечер, как сто вечеров до этого, когда Дима приходил с пивом и высидели за полночь.

Он допивает и смотрит на часы над плитой.

— Всё, поеду. Завтра рано вставать, гараж обещал открыть в восемь.

Уходит около десяти. Ты идёшь провожать его до двери. Он натягивает мятую куртку, топчется, ища второй ботинок, находит его под тумбой.

— Спасибо, — говорит. — Пиво, кстати, в холодильнике оставил, допьёте.

— Давай.

Вы жмёте руки. Обычно. Ровно так, как всегда, ни крепче, ни дольше. Дверь закрывается. Ты стоишь секунду в прихожей, слушая, как затихают его шаги на лестнице, гулко, ступенька за ступенькой, и не понимаешь, почему первое рукопожатие было длиннее последнего. Потом идёшь на кухню. Три кружки на столе. Одна синяя, с отбитым ободком.

Три кружки на столе. Ты убираешь синюю первой, сам не знаешь почему, ставишь её под кран. Алиса подходит, ото-

двигает тебя бедром от раковины.

— Я мою, ты вытирай.

Так всегда. Она моет, потому что не выносит, как ты моешь, быстро и небрежно, оставляя мыльный налёт по краю. Ты вытираешь, потому что тарелок мало и ждать, пока они сохнут сами, глупо. Полотенце вафельное, застиранное до серого, пахнет порошком и чуть-чуть сыростью. Ты берёшь кружку из её руки, синюю, с отбитым ободком, и она снова тёплая, но теперь от воды, и в этом нет никакого зазора.

Вы молчите. Хорошее молчание, старое, как эта квартира с её тонкими стенами, за которыми у соседей бубнит телевизор. Тарелка, кружка, две вилки. Она передаёт, ты вытираешь. Локтем она задевает твой локоть, не отстраняется. Капля воды падает с её запястья тебе на руку, тёплая, и ты не стряхиваешь.

— Хороший вечер получился, — говорит она, не оборачиваясь, глядя в окно, где на крыше соседней высотки горит одинокий красный фонарь.

— Хороший, — соглашаешься ты.

И это правда. Вечер был ровный. Дима с его тонировкой не по ГОСТу, пиво в холодильнике, эклеры, пусть и не те, но эклеры. Смех. Чайник. Никаких трещин на поверхности, гладь без единой морщины. Ты сам не понимаешь, откуда весь тот звон в затылке, который стоял весь вечер. Минус семьсот. Вот откуда.

Посуда стоит на сушилке ребром, капли сбегая на под-

дон. Свет на кухне гаснет.

В спальне прохладно, ты всегда открываешь форточку на ночь, даже сейчас, в межсезонье, когда батареи ещё не топят как следует. Алиса ложится первой, забирается под одеяло, поворачивается к тебе спиной, и через минуту, может две, её дыхание выравнивается. Так быстро она засыпает всегда. Рука её находит твой бок под футболкой, привычным движением, во сне, и лежит там, тёплая, тяжёлая. Ты чувствуешь, как её ладонь чуть подрагивает в такт дыханию. Ты смотришь в потолок. По нему ползёт полоса света, фары со двора, машина разворачивается, полоса уходит в угол и гаснет.

Влажные волосы. Она сушила их феном у Кати, у неё же сломался, ты сам слышал, как она про это говорила ещё на прошлой неделе. Эклеры не из «Бисквита», а из той пекарни у вокзала, так ближе от Кати, что тут думать. Телефон лежал на столе экраном вниз, так он лежит всегда, когда она дома, потому что подсветка бьёт в глаза, ей самой мешает, она первая жалуется. Запах чужого табака — Дима курит, Дима сидел на кухне два часа, весь дом теперь в этом табаке. Пальцы на кружке. Так все берут горячую кружку. Ты сам так берёшь.

Каждая деталь ложится на своё место, и место находится всегда. Ты перебираешь их по одной, как чётки, и каждая гладкая, круглая, без заусенца, за который можно зацепиться. И это, если подумать, и есть покой, когда всё объясняется, ничего не требуя взамен. Не надо вставать, включать

свет, задавать вопрос, от которого воздух в комнате станет другим. Не надо ничего менять. Всё уже на местах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.